



ДОСТОЕВСКИЙ, СТРАХОВ — И ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ РАДОМСКИЙ

1. ХВАЛЕБНАЯ БИОГРАФИЯ И ПАСКВИЛЬНОЕ ПИСЬМО

Достоевский умер 28 января 1881 года. В том же году Анна Григорьевна Достоевская обратилась к Николаю Николаевичу Страхову с предложением написать биографию писателя для полного собрания его сочинений. Предложение не являлось случайным. Страхов был еще со «Времени» и «Эпохи» литературным товарищем Достоевского и считался его другом.

В 1883 году в томе первом, имеющем подзаголовок «Биография, письма и заметки из записной книжки», были опубликованы «Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского» Ореста Миллера и «Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском» Н. Н. Страхова. «Материалы» Ор. Миллера, охватывающие период от рождения писателя до возвращения из Сибири, особой роли в «достоевiane» не сыграли и давно утратили значение. Иная судьба пришлось на долю «Воспоминаний» Страхова.

Это больше чем воспоминания. Работа Страхова, подкрепленная публикацией многих тогда неизвестных или забытых документов, содержит в себе связанное и последовательное (хотя и неравномерное) описание жизни и творчества Достоевского после Сибири, с итоговыми оценками его личности, его наследия, его места в русской литературе. Она до сих пор сохранила ценность свидетельства много знавшего современника, до сих пор является одним из источников для биографов Достоевского. Несмотря на неясные и даже скользкие оговорки, «Воспоминания» в целом выдержаны в положительном и даже высоком тоне. Страхов с уважением и преклоне-

нием говорит о мужестве и выдержке Достоевского, о победе его над самыми неблагоприятными обстоятельствами, о единой линии, соединяющей «Бедных людей» с «Братьями Карамазовыми». «Это не простой литератор, — писал он о Достоевском, — а настоящий герой литературного поприща. В его сочинениях много мыслей, приводящих в умиление; но и сам он, как человек, с таким трудом создавший свою судьбу, бодро вынесший столько тягостей и волнений, достоин умиления»¹.

Умиление Страхова вызывали способность Достоевского видеть «божью искру» в самом падшем и извращенном человеке, умение находить проблемы душевной красоты за самую безобразной и отвратительной оболочкой, всегдашняя готовность прощать и любить. «... Нежная и высокая гуманность может быть названа его музою... в Достоевском муза и человек сливались необыкновенно тесно» (227).

Сказанные Страховым слова взвешены и обдуманы, произнесены «со всей искренностью и точностью». Они не вырвались в минуту скорби, под впечатлением свежей могилы писателя. Страхов подкрепляет их ссылкой на близкое знакомство не только с деятельностью и творчеством Достоевского, но и с его скрытым для других внутренним миром.

«Я был довольно долгое время очень близок к нему, — писал он, — особенно когда работал в журналах, которых он был руководителем... Близость наша была так велика, что я имел полную возможность знать его мысли и чувства...» (179). С авторитетом человека, имевшего возможность многократно проверить свои оценки, Страхов, завершая воспоминания, все сильнее и сильнее убеждает: о Достоевском нельзя судить по мелочам и слабостям, которым придают такое большое значение обыватели. «Дело в том, что вся эта внешность, вся сила этих наружных мелочей и слабостей почти вовсе не имели влияния на его поступки, на его образ чувств и действий, всегда сохранявший благородство и высоту. Он был строг к себе и даже щепетилен; его великодушие не могло помириться не только с темным или недобрым поступком, но и с темным или недобрым чувством. Он

¹ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Том первый. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 321. В первой главе этой статьи ссылки на страницы из названной книги даются в тексте, после цитаты.

трудился и жил, постоянно воспитывая в себе наилучшие чувства и действуя не только безукоризненно и бескорыстно, а часто самоотверженно» (318).

Свою мемуаривную монографию о Достоевском Страхов немедленно по выходе ее в свет послал Льву Николаевичу Толстому, сопроводив свой подарок письмом от 28 ноября 1883 года, содержание которого перечеркивало все только что приведенные его собственные слова. Пером, еще не остывшим от восторженных похвал, он выводил:

«Вы, верно, уже получили теперь биографию Достоевского. . . И по этому-то случаю хочу исповедаться перед Вами. Все время писанья я был в борьбе, я боролся с подымавшимся во мне отвращением. . . Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если б он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. . . В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек! . . .»

Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. . . Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими».

Далее Страхов уверяет, что ставрогинское преступление, описанное в выпущенной из «Бесов» главе, было совершено самим Достоевским, якобы «похвалявшимся» этим перед П. А. Висковатовым. В «Бесах» этому преступлению придано сатанинско-инфернальное освещение. Страхов же, обвиняя Достоевского, прибегнул к таким низкопробным и мерзким словам, что ни один публикатор не смог воспроизвести их полностью. «Заметьте при этом, — продолжает Страхов свое письмо Толстому, — что при животном сладостратии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой «Записок из подполья», Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим.

При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и

эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют само оправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости...

...Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Достоевского, я бы простил его и радовался на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — боже, как это противно!»¹

Страхов назвал свое письмо к Толстому «маленьким комментарием» к написанной им биографии. В другом письме к Льву Николаевичу, от 12 декабря того же 1883 года, он уверял: «Лично о Достоевском я старался только выставить его достоинства, но качеств, которых у него не было, я ему не приписывал»². Фраза эта должна означать, что противоречий между «маленьким комментарием» и комментируемым сочинением нет. Но в утверждении Страхова концы не связаны с концами; чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить его беспощадно осудительное письмо с безоговорочным отождествлением в биографии гуманной музы Достоевского с самой личностью писателя, с его действиями, поступками и чувствами, сравнить отвращение, выраженное в письме, с умилением, выраженным в биографии.

Добровольно, по собственному почину, Страхов одновременно дал два разных отзыва о Достоевском, во втором опровергая первый как намеренную ложь. Между тем именно письмо Страхова не выдерживает самой элементарной критики. Нельзя плохие нервы, раздражительность, вспыльчивость, объясняемые трудной биографией, эпилепсией и эмфиземой легких, — нельзя болезнь противопоставлять гуманизму. Страхов бывал как свой человек в семье Достоевского, он не мог не видеть любви Достоевского к жене, к детям, не мог не заметить трогательного отношения его не только к своим, но и к детям вообще, — он лгал, когда писал, что Федор Михайлович «нежно любил одного себя». Страхов отрицал у Достоевского хотя бы искру сердечной тепло-

¹ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. С предисловием и примечаниями Б. Л. Модзалевского. СПб., 1914, с. 307.

² Там же.

ты — он не мог не знать о заботливости писателя по отношению к своему пасынку П. Исаеву, к семье умершего брата Михаила. Федор Михайлович юридически не обязан был брать на себя изнурительные долги по закрытому «Времени», по прогоревшей «Эпохе» — журналы числились за покойным. Он, однако, возложил на себя это бремя по честности, по благородству души, ревнуя о добром имени Михаила Михайловича, заботясь об интересах многих литераторов, оставшихся после банкротства «Эпохи» без средств.

Сколько «гуманистов», в их числе и сам Страхов, не могли скрыть своей безгливости к убогому, нищему, грязному человеку, к проститутке, к уголовнику — гуманизм Достоевского выдержал и это последнее страшное испытание, он на деле отнесся к самым униженным, самым «последним» людям как к братьям.

Странно читать уверения, что у Достоевского не было «никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести», — слова эти объясняются скорее всего мещанскими вкусами самого Страхова. Что же касается приписывания Достоевскому «ставрогинского» преступления, то оно носит все признаки трусливой клеветы. Человек, убежденный в справедливости выдвинутого обвинения, взял бы ответственность на себя — он бы написал Толстому: я знаю, что Достоевский повинен в таком-то и таком-то грехе. Страхов же спрятался за спину биографа Лермонтова Висковатова, не принадлежавшего к кругу Достоевского, свидетельство которого, между прочим, нигде более не зафиксировано. Если бы Страхова «приперли к стене», он бы ответил: ничего не знаю, мне передавал другой, на него и падает ответственность¹.

Подавляющее большинство исследователей Достоевского проходили и проходят мимо письма Страхова как

¹ Впрочем, в тех случаях, когда речь шла об угодных ему людях и единомышленниках, Страхов готов был замалчивать любые пороки. В. В. Розанов написал Страхову о гомосексуализме Константина Леонтьева. Розанов относился к пороку Леонтьева снисходительно и даже с оправданием, Страхов — с отвращением. Однако он ответил: «Об Леонтьеве я все очень хорошо знал, но не хотел говорить вам; знаете: *de mortuis etc*» (то есть — о покойниках говорят только хорошее или молчат). И в другом письме: «Грехи К. Н. Леонтьева его личное дело, и не в них важность. Кто же свят, кто может бросить камни в других» (Розанов в В. В. Литературные изгнанники, т. I. СПб., с. 232, 329). Реальный грех Леонтьева Страхов замалчивал; мало того, — он принимал меры, чтобы и другие о нем не говорили. О мнимом же «грехе» Достоевского Страхов трубил во все трубы.

не заслуживающего доверия. Однако, несмотря на всю бросающуюся в глаза шаткость обвинений Страхова, нашедшие люди, которые ушли от первого же напрашивавшегося вопроса: что представляет собой сам Страхов, который мог одновременно, одной и той же рукой, одним и тем же пером написать и хвалу, и грязный пасквиль в адрес Достоевского? И почему Страхов совершил столь необычный, столь неблагоприятный поступок, так не вяжущийся со званием литератора, корреспондента Достоевского и Толстого? Вместо этого они стали выяснять, виновен ли Достоевский, автобиографична ли исповедь Ставрогина. Не подвергая проверке источник клеветы, стали обсуждать самую клевету как непреложный факт. При таком необъективном «расследовании» Достоевский в лучшем случае освобождался от «наказания», от обвинительного приговора, за недостаточностью улик, — впрочем, вполне удовлетворяющих фрейдистов или экзистенциалистов из «очернительской» ветви этих философских направлений, — но оставлялся, согласно терминологии старой юриспруденции, под сильным подозрением.

И в наши дни к этой «проблеме» вновь обратился Б. Бурсов в журнальном варианте своего «романа-исследования» «Личность Достоевского»¹. В отдельном издании «романа-исследования» Б. Бурсов опустил рассуждение об автобиографическом характере исповеди Ставрогина. Однако он все же сохранил сказанное в виде намека: «...сочиненное в жизни человека чуть ли не равноценно случившемуся с ним. Это правило он (Достоевский. — В. К.) распространяет и на самого себя»².

Мы не согласны с этим замечанием Б. Бурсова. Такие авторитетные знатоки Достоевского, как В. Комарович и С. Булгаков, отрицали возводимые Страховым на Достоевского вины и преступления, все равно, делалось ли это прямым образом или намеком.

В. Комарович был совершенно прав и снисходителен, добавим, когда прошел мимо аргументации Страхова, указывавшего на грех персонажа как на доказательство преступления автора. В. Комарович коснулся самой сути дела: исповедь Ставрогина нужна была Достоевскому для того, чтобы художественно показать наипоследнюю ступень падения своего героя.

¹ «Звезда», 1969, № 12, с. 134—138.

² Бурсов Б. Личность Достоевского. Роман-исследование. Л., 1974, с. 129.

В 1876 году Достоевский в «Дневнике писателя» дал уничтожающую оценку критической деятельности писателя В. Г. Авсеенко, лакейски преклонявшегося перед «культурными типиками», для которых культура начиналась с разврата, и разражавшегося по адресу всего того, что ему не нравилось, «самыми презрительными плевками» (XI, 249). Авсеенко нашел грязь и в «Подростке». Отвечая ему, Достоевский вспомнил и страховскую клевету. Авсеенко, читаем мы в черновиках Достоевского, «возвестил, что «Русский вестник» поправлял мою грязь. Я не отвечал. Этого не было. Из каких источников. Ставрогин (неверующий, и торжество живой жизни, укор одного грязного поступка)» (НД, 555—556). Достоевский и в этом случае счел ниже своего достоинства реагировать в печати на злобный слух. Но черновая запись совершенно ясно и недвусмысленно указывает: того, о чем клеветнически болтал Страхов, не было, рассказ о «грязном поступке» нужен был Достоевскому как художнику, чтобы показать, что Ставрогину уже нет и не может быть ни прощения, ни воскрешения. Именно для того, чтобы показать истинный смысл не пропущенной Катковым главы «Бесов», Достоевский и читал ее неоднократно другим литераторам.

Разбираясь в обвинительном процессе, поднятом Страховым против Достоевского, надо прежде всего решить, является ли взаимоисключающая двойственность приговоров Достоевскому случайностью для Страхова, не было ли вообще в характере Страхова, в его житейских правилах, в его поведении двойственности, неискренности, диктуемых не выражаемыми вслух целями. Не было ли в самой личности Страхова какого-то недоброго лукавства, своеобразного приспособленчества, при котором он мог говорить об одном и том же факте или обстоятельстве, об одном и том же человеке разное, в зависимости от того, что он считал нужным или выгодным для себя или приятным для собеседника?

«Нет на свете писателя, который бы так старался и так умел скрыть от читателя свою мысль, как Страхов», — воскликнул как-то один тонкий и глубокий знаток русской словесности, — сообщает биограф Страхова Б. В. Никольский. — Он вежлив и деликатен с мыслями и мнениями, как с людьми, — пишет Никольский уже от собственного имени, — не обнаруживая при этом ни тоном, ни отношением к ним своего согласия или несогласия; он писал как будто не теми словами, какими думал». Все это

говорится величайшим доброжелателем Страхова, оправдывающим его извороты как «учтливость мысли».

«Критико-биографический очерк» жизни и деятельности Страхова написан Никольским в панегирических тонах. В нем чрезвычайно, чрезмерно высоко оцениваются и литературная, и философская, и общественная деятельность Страхова и его роль в истории русской образованности, личные же качества явно приукрашиваются и идеализируются. И тем не менее Б. В. Никольский проговаривается, что семинарско-монастырское воспитание и обучение отложили неизгладимую печать на личность Страхова (учившегося в Костромской семинарии, при костромском Богоявленском монастыре). И в обхождении, и в строе его жизни, рассказывает Никольский, полагая, что хвалит, «и во всей его биографии было... много знакомого каждому, кто хоть поверхностно наблюдал характер и особенности православного монашества. Всегда неизменно деликатный и благодушный, мягкий и вежливый, но уклончивый, такой же скупой на выражение своих симпатий, как и антипатий, старающийся все свои настроения и впечатления скрасить шуткой и смехом, по возможности не высказывающий своего мнения и с величайшим вниманием выслушивающий во всех подробностях всякую чужую мысль, никогда не направляющий разговора в ту или другую сторону, но всегда идущий за своим собеседником, охотно подтрунивающий, но никогда не допускающий себе обмолвиться ни одним резким, грубым или неуместно игривым словом — таким вспоминают его с невольной любовью все, кто лично знал Страхова»¹.

Никольский всем восторгается в Страхове, он старается все в нем оправдать. Ему вторит В. Розанов: «...беседа Страхова всегда очищала и просветляла». Он никогда не касался «фривольных» тем, не шутил «бесстыдно», даже нескромно»². Однако если снять лак, то из слов биографов Страхова объективно вырисовывается человек неискренний, способный сказать и написать одно, а думать другое, разговаривающий перед одним собеседником одну версию, а перед другим другую, и все об одном

¹ Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов. Критико-биографический очерк. «Исторический вестник», 1896, апрель, с. 220, 19, 218.

² Розанов В. Вечная память. «Русское обозрение», 1896, октябрь, с. 634. Не касался фривольных, нескромных тем, — а письмо с непечатными выражениями к Толстому написал!

и том же «сюжете». Любопытно отметить, что и Розанов отмечает в Страхове, уже как философе, манеру, одновременно и «привлекающую», и «раздражающую», — «не договаривать своих мыслей до конца»¹.

Все эти качества, столь снисходительно охарактеризованные Никольским и Розановым, находят подтверждение при анализе собственных, автобиографических текстов Страхова.

Устав иезуитов позволял и даже требовал в иных случаях, в соответствии с поставленной «благодетельной» целью, словесного согласия с тем, с чем внутренне они не могли или не хотели соглашаться, под условием, однако, мысленной оговорки, молчаливого отмежевания от выраженного согласия или даже совершенного поступка (что называлось *reservatio mentalis*). Страхов подчас проговаривается, и тогда выясняется, что в отношениях к Достоевскому он прибегал к этому иезуитскому правилу.

Неудавшийся зоолог и неудачный претендент на должность университетского профессора по естественному знанию, Страхов искал случая переменить род оружия, войти в литературу, в журнальную публицистику, журнальную критику. В доме А. П. Милюкова, некогда сочувствовавшего петрашевцам, он познакомился с Достоевским. Федор Михайлович предложил ему сотрудничество в только что начинавшемся «Времени». Страхов с радостью согласился.

Достоевский основывал свой журнал как орган «почвенничества», нового направления, отгораживавшегося не только от радикального западничества, но и от консервативного славянофильства. Страхов же был консерватором и славянофилом, но, чтобы не испортить себе дела, он промолчал о своем несогласии с Достоевским.

Стоит здесь привести из страховской биографии Достоевского собственные слова Страхова о его позиции в журнале — они зыбки, двусмысленны и именно поэтому весьма характерны:

«Для полноты картины прибавлю несколько слов о себе самом. В журналистику я вступил, сколько помню, с некоторым равнодушием и даже ленью, и потому не принимал большого участия в вопросе о направлении. Мысль о новом направлении, однако же, сперва занимала меня, особенно вследствие влияния Ап. Григорьева; но очень скоро, может быть, по своему нерасположению к

¹ «Русский вестник», 1892, книга 8, с. 220.

неопределенности, я порешил, что нужно прямо признавать себя славянофилом, когда признаешь существенные начала этого учения. Таким образом, некоторое время я расходился с направлением «Времени», причем не могу сказать, чтобы горячо проповедовал или отстаивал свое расхождение» (205).

В этой тираде все показательно — и похвальба принципиальностью, определенностью, и заверение о первоначальном будто бы равнодушии к карьере журналиста, и признание в помалкивании о своих истинных взглядах. Страхов забыл, что тут же, тридцатью страницами раньше, писал о «большой радости», испытанной им при напечатании во «Времени» первой своей статьи, о чувстве удовлетворения, охватившем его, когда его пригласили в литературный кружок, в котором доминировал Достоевский и духовной жизнью которого он чрезвычайно интересовался. Показательно и откровенное признание в *reservatio mentalis* — во внутренних, не высказанных вслух оговорках, остававшихся, таким образом, до поры до времени неизвестными Достоевскому, убежденному, что имеет дело с единомышленником.

Страхов шел в журнал «Время» со своими собственными целями. Словечки о «лени», о «равнодушии», о неучастии в выборе направления должны были смягчить или даже снять впечатление о лицемерии, с каким он начинал свое сотрудничество с Достоевским.

Лукава и фраза Страхова: «Таким образом, некоторое время я расходился с направлением «Времени». Страхов старался уверить, что он преодолел идеологическое верховенство Достоевского, что Достоевский признал его правоту, перешел на его сторону, и что на этой-то основе и были сняты не высказанные вслух или, во всяком случае, недостаточно внятно сформулированные прежние разногласия между ними.

На самом деле разногласия между Достоевским и Страховым никогда не исчезали — последний только таился, а иногда и обманывал великого писателя, считавшего его своим другом.

«Достоевский видит во мне старого уже товарища по литературе, — писал Страхов Толстому в 1873 году, — очень любит мои статьи и считал бы просто изменою, если бы я не участвовал в журнале («Гражданине»), на который он кладет всю душу... Я и лавирую...»¹

¹ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894, с. 35. В 1874 году Некрасов обратился к Страхову с просьбой помочь ему

И еще за два года до смерти Достоевского, часто обедая у него и лакомясь специально по вкусу гостя приготовленными блюдами, Страхов 11 марта 1879 года писал Толстому, явно перед ним заискивая: «...очень люблю и уважаю Вас. Я Тургенева и Достоевского — простите меня — не считаю людьми; но Вы — человек...»¹

В. К. Истомин рассказывает о споре Толстого с В. Соловьевым при участии Страхова в феврале 1881 года: «Лев Николаевич решительно ставил свои положения и затем стремительно развивал их и доводил до возможного конца. Страхов играл несимпатичную, двуличную роль; следя восторженным взором за своим кумиром, он как бы беспрекословно признавал его своим учителем и в области философии, одобряя и поддерживая все, что отвечало его собственным мнениям, и обходя молчанием возбуждавшее в нем сомнение и неизбежное противоречие»².

Злополучное письмо Страхова к Толстому со всеми содержащимися в нем клеветами не было случайностью. Двуличие делало возможным появление этого или подобного документа при первом же достаточно побудительном мотиве. К тому же Страхов сознавался, что его злит «непомерное самодовольство и самовозношение. Вот почему, — добавлял он, — для меня составляет некоторое удовольствие... вот почему я и радуюсь, когда найду место, обличающее тех, кто так гордо признает себя светильниками правды и добра»³.

Слова эти сказаны вообще, но в то же время уж очень точно обрисовано в них психологическое состояние, в котором могло быть написано страховское письмо. Страхова раздражала в Достоевском будто бы «самодовольная»

привлечь Толстого к сотрудничеству в «Отечественных записках». В беседе с Некрасовым Страхов или промолчал, или, может быть, по всегдашнему своему обыкновению ответил чем-то вроде согласия. На деле же он решил помешать этому сотрудничеству. Зная, что Некрасов и сам находится в переписке с Толстым, он 8 ноября 1874 года сообщил последнему о просьбе редактора, но вот в каких выражениях: «Я не торопился писать к Вам об этом, зная, что Некрасов сам с Вами в переписке; что же касается до того, чтобы уговаривать Вас в его пользу, не хочу. Никак не могу желать усиливать то направление, которому он служит отчасти по личному настроению, но большею частью по лукавству и невежеству».

¹ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894, с. 214.

² Истомин В. К. На закате (Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников в двух томах, т. 1, М., 1978, с. 246).

³ Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом (1862—1885). Изд. 2-е. СПб., 1887, с. 92.

гуманность, «возведение себя в прекрасного человека». Вот он и искал и нашел для себя «место», при помощи которого считал возможным его «изобличить».

К двуличию, к злопыхательству и злорадству в отношениях к Достоевскому у Страхова присоединилась еще кружковая близорукость и кружковая бесцеремонность. У него не было чувства дистанции по отношению к Достоевскому. В тесных и несколько замкнутых коллективах, литературных и иных, иногда создают себе божков. Но бывает и иначе: самолюбивый, честолюбивый неудачник не может разглядеть и в особенности примириться с превосходством своего приятеля, своего соратника.

«Для меня, близко знавшего Достоевского, — признавался Страхов, — субъективность его изображений была очень ясна, и потому всегда наполовину исчезало впечатление от произведений, которые на других читателей действовали поразительно, как совершенно объективные образы». Страхов нигде и никогда не назвал Достоевского гением, он отказывал ему в праве именоваться реалистом. Размеры общественной популярности Достоевского, выразившейся в грандиозных его похоронах, удивили, даже изумили его. Литературный неудачник, губивший один за другим журналы, которые редактировал или в которых принимал участие¹, Страхов тешил себя мыслью, будто Достоевский был более проповедником, публицистом, журналистом, чем художником. Для Достоевского, писал он в «Воспоминаниях», «главное было подействовать на читателей, заявить свою мысль, произвести впечатление в известную сторону... В этом смысле он был вполне журналист и отступник теории чистого искусства» (216).

Страхов снижал значение творчества Достоевского. В своих «Воспоминаниях» он вскользь, но постоянно подчеркивает «несовершенства созданий» Достоевского (227), а подводя итоги, приходит к выводу, что Достоевскому так и не удалось создать шедевра. Романы

¹ «... Припомните, — писал сам Страхов Достоевскому 4 мая 1871 года, — пал «Светоч», закрыто было «Время», пала «Эпоха», пала «Библиотека для чтения», выскользнули из рук «Отечественные записки», не удалась «Заря»...» Сюда следует добавить и другое признание, сделанное несколько раньше, 22 февраля 1871 года: «... за мной прочно утвердилась слава писателя туманного, непонятого, неудобочитаемого. Даже люди, расположенные ко мне, спрашивали иногда меня: зачем, для кого я пишу свои статьи? И что я хочу сказать? Что они значат?» (Сб. «Шестидесятые годы». Ред. Н. К. Пиксанова и О. В. Цехновицера. 1940, с. 272, 270).

«Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы» Страхов, по-видимому, считал неудачами. Во всяком случае, он исключает их из перечня «подъемов» Достоевского, которых насчитывает четыре: «Первый — «Бедные люди», второй — «Мертвый дом», третий — «Преступление и наказание», четвертый — «Дневник писателя». Конечно, всюду это тот же Достоевский, но никак нельзя сказать, что он вполне высказался; смерть помешала ему сделать новые подъемы и не дала нам увидеть, может быть, гораздо более гармонических и ясных произведений» (275).

В личном общении и в письмах Страхов, видимо, смягчал свои приговоры. «Ваш «Идиот», — писал он Достоевскому в марте 1868 года, — интересует меня лично чуть ли не больше всего, что Вы писали. Какая прекрасная мысль!.. Вы идете блистательно»¹. Не следует, однако, забывать, что слова эти относятся не ко всему роману, а только к первой части, в которой еще не фигурирует Евгений Павлович Радомский. По поводу «Бесов» (которые Страхов очень одобрял как памфлет против революции) он, однако, не удержался и написал Достоевскому (12 апреля 1871 года):

«Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен...»

Но очевидно же... Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее. Например, «Игрок», «Вечный муж» произвели самое ясное впечатление, а все, что Вы вложили в «Идиота», пропало даром. Этот недостаток, разумеется, находится в связи с Вашими достоинствами. Ловкий француз или немец, имея он десятую долю Вашего содержания, прославился бы на оба полушария и вошел бы первостепенным светилом в Историю Всемирной Литературы. И весь секрет, мне кажется, состоит в том, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вместо двадцати образов и сотни сцен остановиться на одном образе и десятке сцен. Простите, Федор Михайлович, но мне все кажется, что Вы до сих пор не управляете Вашим талантом, не приспособляете его к наибольшему действию на публику...»²

¹ «Шестидесятые годы», с. 258, 259.

² Там же, с. 271.

Письмо смягчено комплиментарными фразами, однако ясно, что, по мнению Страхова, «Игрок» и «Вечный муж» значительнее «Идиота» и «Бесов», что Достоевскому — такому, как он есть, — не войти в историю всемирной литературы! Страхов советует Достоевскому «ослабить творчество», понизить анализ — заменить высшую математику таблицей умножения искусства!

Достоевский написал после этого «Подростка» и «Братьев Карамазовых», но и они оставались по-прежнему недоступными для понимания его корреспондента.

Достоевского не могло не огорчать уничижительное отношение к его прекрасному и грозному дарованию, он не мог в глубине души не ревновать Страхова к Толстому. Каламбур Достоевского: «...затолстеет, как Страхов, затолстел человек» (НД, 312), весьма сложен: имеется в виду и физическое, и нравственное «отолстение», но в нем звучит и ревность к Толстому, гениальность которого после «Войны и мира» Страхов признавал безоговорочно.

Однако похвалы Страхова сужали значение и Толстого. Страхов укладывал его произведения на прокустово славянофильское ложе. Сам же Толстой говорил: «Народность славянофилов и народность настоящая — две вещи столь же разные, как эфир серный и эфир всемирный, источник тепла и света»¹. Под конец своей жизни Страхов стал вспоминать и о Толстом «холодно и сухо»².

Но как бы то ни было, в конце концов Достоевский раскусил Страхова — и лицемерие, и ханжество, и двуличие, и неискренность его, постиг в нем много больше, чем нам известно, потому что не все из частных и сложных переплетенных личных взаимоотношений отражается в документе, оставляет след на бумаге. Достоевский добивался постоянного сотрудничества Страхова в «Гражданине», но и терзал себя сомнениями: «Да и что может

¹ Письмо к Н. Н. Страхову от 22—25 марта 1872 г. (Полн. собр. соч., т. 61, с. 278).

² Слова Б. Модзалевского. См. сб. «Шестидесятые годы» с. 6. Толстой относился к Страхову снисходительно, но все же подвел ему точный и определенный итог: «Страхов — как трухлявое дерево, — ткнешь палкой, думаешь, будет упорка, а нет, она насквозь проходит, куда ни ткни, — точно в ней нет середины; вся она изъедена...» (См.: «Летописи Госуд. лит. музея», вып. 12. М., 1950, с. 279. Воспоминания народника В. И. Алексеева, учителя детей Толстого).

сказать этот сухощавый духом... но не телом человек? Хотя и толстый телом человек?» (НД, 371). Итоговый разговор Страхову Достоевский произнес в записной тетради 1876—1877 года, не подбирая и не шлифуя слов, как пишут для себя, в дневнике, не рассчитанном на публикацию. Приведем его полностью:

«Н. Н. Страхов. Как критик очень похож на ту сваху у Пушкина в балладе «Жених», об которой говорится:

Она сидит за пирогом
И речь ведет обиняком.

Пироги жизни наш критик очень любил и теперь служит в двух видных в литературном отношении местах¹, а в статьях своих говорил *обиняком*, по поводу, кружил кругом, не касаясь сердцевины. Литературная карьера дала ему четырех читателей, я думаю, не больше, и жажду славы. Он сидит на мягком, кушать любит индеек и не своих, а за чужим столом. В старости и достигнув 2-х мест, эти литераторы, столь ничего не сделавшие, начинают вдруг мечтать о своей славе и потому становятся необычно обидчивыми. Это придает уже вполне дурацкий вид, и еще немного, они уже переделываются совсем в дураков — и так на всю жизнь. Главное в этом самолюбии играют роль не только литератора, сочинителя трех-четырех скучненьких брошюр и целого ряда обиняковых критик по поводу, напечатанных где-то и когда-то, но и 2 казенные места. Смешно, но истина. Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив — он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную, грубо-сладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать. Я еще больше потом поговорю об этих литературных

¹ Ср. в письме Н. Н. Страхова к Л. Н. Толстому от 2 февраля 1874 года: «Теперь я богат: с моих двух мест (в Публичной библиотеке и Ученом комитете министерства народного просвещения. — В. К.) я буду получать 2500 руб. . . Мои два места — не преувеличивая — самые легкие, какие есть на свете»,

типах наших, их надо обличать и обнаруживать неустанно» (НД, 619—620).

В том же 1876 году Достоевский в «Дневнике писателя» написал о людях, которые «соглашаются жить именно как животные», то есть чтобы «есть, пить, спать, устраивать гнездо и выводить детей». О, жрать, да спать, да гадить, да сидеть на мягком — еще слишком долго будет привлекать человека к земле, но не в высших типах его» (XI, 486).

Конечно, в «Дневнике писателя» Достоевский писал обобщенно, однако совпадение лексики, использованной для характеристики низших типов в человечестве и литератора Страхова, что-то да значит!..

Приведенная дневниковая страничка сопровождается другими комментирующими записями, несомненно задававшими и Н. Н. Страхова. Слова: «Это была натура русского священника в полном смысле, то есть матерьяльная выгода на первом плане и за сим — уклончивость и осторожность» (НД, 623) — вполне совпадают с тем, что писал о Страхове Никольский, с той разницей, что последний восхищался замеченными им качествами характера Страхова, а Достоевский оценивает их по истинной сущности. «Неискренность в общественных сходах, — (Страхов у меня на вечере)» (НД, 466), — есть еще запись у Достоевского.

Что-то произошло еще добавочное во взаимоотношениях между Достоевским и Страховым; Достоевский, видимо, еще что-то узнал, что окончательно раскрыло ему глаза на его друга-завистника, друга-недруга. «Он у меня обедал, я его кормил...»¹ — так пишут, узнав об измене, о предательстве человека, считавшегося или прикидывавшегося другом. Страхов как тип встал перед Достоевским в новом, более обнажающем свете. Все прежние несогласия, споры, критики, расхождения показались ему недостаточными, у него возникла потребность по-новому «вгрызться» в тип, представляемый Страховым. Намерение «...больше потом поговорить об этих литературных типах наших» содержит в себе не только самообязательство перед будущим, здесь есть и некая неудовлетворенность уже сделанным — на что не обращалось до сих пор внимания.

¹ «Неизданный Достоевский», с. 371.

2. СТРАХОВ КАК ПРОТОТИП ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВИЧА РАДОМСКОГО

В первый раз Достоевский воспользовался личностью Страхова как прототипом литературного образа в 1868 году, в романе «Идиот». Николай Николаевич Страхов — прототип Евгения Павловича Радомского, как это и будет доказано в дальнейшем изложении. Пока лишь отметим: «их надо обличать и обнаруживать неустанно» означает, что Достоевский с течением времени решил, что в «Идиоте» он был слишком сдержан, что тип, знаменуемый именем Страхова, требует более резкого обозначения, более ясного осудительного, сатирического отношения.

Евгений Павлович Р., Евгений Павлович Радомский появляется в романе Достоевского «Идиот» довольно поздно. Его вводит в круг действующих лиц князь Щ., жених Аделаиды Ивановны Епанчиной. Это был, представляет его Достоевский, «человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант», писанный красавец собой, «знатного рода», человек остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного образования и какого-то уж слишком неслыханного богатства». Евгений Павлович заинтересовался Аглаей. Он стал одним из претендентов на ее руку — настолько серьезным, что Епанчины отложили из-за него предположенную было поездку за границу.

Евгений Павлович относится к числу второстепенных персонажей романа.

В «Идиоте», как и в других романах Достоевского, сюжет, да и все повествование держится на исключительных персонажах, на «типах, чрезвычайно редко встречающихся в действительности целиком», но которые зато «почти действительнее самой действительности». В одном месте Достоевский счел себя вынужденным объяснить, почему он все же при этом вводит в повествование людей обыкновенных: обычные люди — необходимое звено в связи житейских обстоятельств; они придают правдоподобие всему рассказываемому. Однако бывают второстепенные персонажи, которые несут на себе значительную смысловую нагрузку. Во всяком случае, добавлял он, «писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже и между ordinariaми».

Прагматически-фабульное значение Евгения Павловича в цепи «житейских событий» романа раскрывается довольно просто. Настасья Филипповна считает себя недостойной стать женой Мышкина. Сердцем уловила она все растущее влечение князя к Аглае. Вообразив, что Евгений Павлович стал препятствием для Мышкина, она в порыве бесконечного самоотвержения решила на компрометирующий скандал, который сделал бы невозможным сватовство Радомского. Отрекаясь от всего личного, она отдает душу свою на позор, лишь бы устранить соперника, вставшего будто бы между князем и Аглаей. В эпизоде этом роль Евгения Павловича ограничена: он дает Достоевскому возможность глубже и реальной раскрыть картину смятенных чувств Настасьи Филипповны.

Однако значение Евгения Павловича в романе не исчерпывается этой служебной функцией. Достоевский нашел интересные и поучительные оттенки, вводящие образ Евгения Павловича в более глубокие смысловые пласты романа. Он и сам подчеркивал «насущенное» значение истории с флигель-адъютантом.

Перечень достоинств, свойств, признаков, которыми Достоевский наградил Евгения Павловича, кажется, проводит непроходимую границу между этим персонажем и реальным Николаем Николаевичем Страховым, литератором из семинаристов, чиновником по ведомству просвещения, не отличавшимся ни особым достатком, ни особой красотой и тем более великосветскими манерами и привычками.

Однако все определения, которыми Евгений Павлович рекомендован читателю, остаются как бы висеть в воздухе, кроме одного: для его сюжетной роли особый вес приобретают слова: «Человек... чрезмерного образования» (заметим, что А. Долинин подчеркивает «обширную эрудицию» Страхова, а его самого называет «эрудитом»¹). Евгений Павлович участвует в важных идеологических обсуждениях и спорах, характеризующих его самого и помогающих определить идейные позиции других действующих лиц, в первую очередь князя Мышкина.

Евгений Павлович начинает охотно и много высказываться, когда возникают эпизоды с Бурдовским и в особенности с Ипполитом Терентьевым, когда в действие

¹ Долинин А. С. Последние романы Достоевского. М.—Л., 1963, с. 308.

романа вступает «нигилистическая» молодежь. «Нигилизм» — его конек. Причиной всех отрицательных явлений, всех бед и несчастий современной русской действительности Евгений Павлович считает «нигилизм». Он явно повторяет в этом кардинальном вопросе Страхова, который с завидной последовательностью с начала шестидесятых годов и до конца жизни, о чем бы ни писал и о чем бы ни говорил, всегда поворачивал против нигилизма. «Корень зла — нигилизм...» — твердил он всю жизнь, — «зараза безумных и вредных понятий, проникающая всю нашу умственную и нравственную атмосферу»¹.

Евгений Павлович, как и Страхов, считает первоучителями нигилизма в России Чернышевского, Писарева и их сторонников. По условиям цензурным и по условиям такта Достоевский в романе, печатавшемся в 1868 году, не мог назвать имени Чернышевского. Однако его Евгений Павлович в довольно ясном намеке соотносит взгляды Ипполита со взглядами сосланного на каторгу Чернышевского:

«— Я только хотел спросить вас... господин Терентьев, — обращается Евгений Павлович к Ипполиту, — правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?

— Очень может быть, что говорил... — ответил Ипполит, как бы что-то припоминая... — Что же из этого?

— Ничего ровно: я только к сведению, чтобы дополнить».

Завершающая реплика сказана как бы следователем или даже прокурором, уточняющим обвинительный акт против молодежи, «первосовратителями» которой были Чернышевский, «Современник», вся его партия. На Чернышевского намекают слова о четверти часа, достаточных, чтобы увлечь за собой народ, — его-то и припоминает Ипполит.

Об этих пятнадцати или десяти минутах всю жизнь помнил Страхов. Он не забыл упомянуть о них в своей итоговой статье о нигилизме (так и озаглавленной «Нигилизм»), написанной в 1881 году: «Мужики, которым

¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. СПб., 1883, с. 210, 206.

(как было напечатано лет двадцать назад в одном журнале) в десять минут разговора умный человек мог надеяться вполне раскрыть их истинные интересы, оказались ужасно непонятливыми и упорными...»¹

Евгений Павлович, как и Страхов, *causeur* — он легко овладевает разговором («проклятый... болтун», — называет его в сердцах Лизавета Прокофьевна), но разговоры его иногда становятся в тягость, потому что о кровных, о роковых вопросах он «говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и как будто горячится, а в то же время как будто и шутит». Манера эта точно воспроизводит манеру Страхова: вспомним приведенную раньше характеристику Б. В. Никольского: уклончивый Страхов старался скрасить свои высказывания «шуткой и смехом», охотно «подтрунивая» над обсуждаемой темой.

Евгений Павлович, как и Страхов, как и славянофилы, относится отрицательно к русским либералам западнического толка и русским социалистам из разночинцев, к системам идей, как он выражается, «помещичьим или семинарским». Методология его критики, честь открытия которой он приписывает себе и которой он часто пользовался, состоит в различении частных случаев от общих оснований, или частных авторитетов от авторитетов общих. Мысль его сводится к следующему: существуют ценности, которые в реальной действительности иногда подвергаются помрачению, порче; кто признает авторитет незыблемой ценности, тот может критиковать то, что ее искажает, при одном, однако, условии, что не будет затрагивать первоначального авторитарного принципа.

В первый раз к различению авторитетов частных и авторитетов общих Страхов прибегнул в софистических целях в разгар полемики 1861—1862 годов, дабы «посрамить» ненавистных ему Чернышевского и Писарева. «...Одна из отличительных черт настоящей (то есть теперешней. — В. К.) литературы есть именно отрицание общих авторитетов, — утверждал он. — Например, отвергается не просто Пушкин или другой поэт, а отвергается поэзия вообще; отвергается не просто Гегель, а философия вообще; отвергается не просто Гизо, а вся история и т. д. Разница между таким отрицанием общего авторитета и отрицанием какого-нибудь частного авторитета

¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая, с. 224.

чрезвычайно большая. Частный авторитет если отвергается, то должен быть отвергаем не иначе, как во имя будущего. . . но у нас, в литературе, дело идет совершенно наоборот. Частный авторитет не признается потому, что отвергается общий».

По софистическим выкладкам Страхова Чернышевский, Добролюбов, Писарев и их сторонники не имели ни общих идеалов, ни общего мирозерцания. В своем «мрачном и жестоком» азарте они-де разрушали «в самом корне величайшее счастье нашей человеческой жизни» — «добро», «истину», «красоту»¹. Они отрицали, уверял Страхов, не определенный переживший себя строй, а историю вообще; они ненавидели не самодержавие, не крепостничество, а Россию как таковую и т. д. и т. д.

Придавая своей тактике борьбы с революционными демократами преувеличенное значение, Страхов неоднократно хвастал. «Я убежден. . . — писал он, — что я открыл» корень заблуждений «Современника» и «Русского слова» «и позволяю себе гордиться открытием, столь важным в истории современной отечественной словесности»; «. . . Я указал на то, что «Современник», поддерживая свои идеи, доходит до отрицания общих авторитетов, например, поэзии, истории, философии, литературы» и т. д.²

Когда Евгений Павлович «приписывает себе и даже одному себе» открытие основного заблуждения «русских либералов», в том числе, значит, и Чернышевского, Писарева и их лагеря вообще, то он явно повторяет похвалы Страхова. «Я вам, господа, скажу факт, — разглагольствует Евгений Павлович прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами, — факт, наблюдение и даже открытие которого я имею честь приписывать себе, и даже одному себе; по крайней мере об этом не было еще нигде сказано или написано». Об этом было, однако, сказано, написано и напечатано Страховым во «Времени», и тирада эта становится оправданной и приобретает свой истинный смысл лишь в том случае, если именно Страхов послужил прототипом для Евгения Павловича.

¹ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890, с. 21, 22.

² Там же, с. 23, 144.

Страхов очень гордился своим «открытием». И Достоевский использовал это «открытие» для характеристики созданного им персонажа, включая чувство самоудовлетворения и гаерское шутовство, долженствующие прикрыть возможное замечание, что предложенный тезис является общим местом и если и есть в нем что-либо новое, так только софистическое применение.

Опираясь на изобретенный им «метод» оценки идеологической жизни, Евгений Павлович переносит огонь критики на русскую литературу. «...Русская литература, по-моему, — толкует Евгений Павлович, — вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя». И тут перед нами повторение мыслей Страхова.

В 1867 году, в декабрьском номере «Отечественных записок», Страхов опубликовал статью «Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк». В следующем, 1868 году он выпустил ее отдельной брошюрой. Достоевский запомнил ее, она фигурирует в его переписке.

Одна из глав брошюры начинается словами: «Бедна наша литература, но у нас есть Пушкин»¹.

Работая над «Бесами», Достоевский занес в свою записную тетрадь: «Славянофилы — барская затея. Их мнение о Пушкине (бедность русской литературы)» (11, 64). Запись эта перекликается с заглавием Страхова и в то же время нуждается в расшифровке. Славянофилы отрицали русскую литературу, ее художественный вес, ее национальное значение, отрицали Пушкина, отрицали все и всех, кроме разве, по своеобразному недоразумению, Гоголя. В этом огульно отрицательном отношении славянофилов к русской литературе, создававшей в XIX веке в непрерывном потоке самые неувядаемые свои ценности, Достоевский видел одно из неопровержимейших доказательств их барской сущности.

Страхов к исходу шестидесятых годов сохранил славянофильско-отрицательное отношение к русской литературе. Однако под влиянием Достоевского он внес поправку в славянофильское отношение к Пушкину. Он стал защищать Пушкина от аристократической холодности, от барского пренебрежения, но не так, как Достоевский. Тот в оценке Пушкина был в главнейших и сильнейших пунктах близок к Белинскому и даже опирался

¹ Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868, с. 54.

на Белинского. Страхов же черпал свою аргументацию у Варнгагена фон Энзе и у Каткова.

Попытка воскресить давнюю (1856 года) и забытую статью Каткова о Пушкине носила вдвойне демонстративный характер: в ней проявились и раболепие Страхова перед влиятельным «московским публицистом», и противопоставление аргументации последнего пушкинским статьям Белинского.

Выделяя Пушкина и защищая его от славянофилов, Страхов тем сильнее подчеркивал славянофильскую мысль об общей будто бы бедности всего русского литературного процесса.

«Бедная литература! Бедная критика! — восклицал он. — Ни одного твердо сложившегося мнения, ни одного общепризнанного авторитета», везде «явные признаки слабости нашей литературы и некоторой уродливости нашего развития, по которой оно никогда не достигает полного и всеобщего влияния, не имеет силы внушить к себе уважение всем и каждому»¹. Этот уничижительный приговор равно распространяется и на русский классицизм, и на русский сентиментализм, и на русский романтизм. Не признает Страхов ни особых заслуг, ни особых достижений и за шестидесятыми годами, в течение которых Достоевский опубликовал «Униженные и оскорбленные», «Записки из Мертвого дома» и «Преступление и наказание».

Имена современных ему писателей, вошедших в пантеон вечной славы русской литературы, критик приводит здесь лишь для того, чтобы на примере каждого из них показать ту или иную черту слабости и бедности русской литературы. Изложение Страхова пронизано к тому же намеками, то прямыми, то двусмысленными, на преклонение русской литературы и русской критики перед Западом, на подражательный будто бы ее характер (по терминологии Евгения Павловича, она «вся не русская!»). С некоторой долей гадательности, уповая все же на будущее, он видит признаки лучшего в увеличении числа газет, журналов, в деятельности «прежних писателей» и называет в этом ограниченном контексте Тургенева, Островского, Л. Толстого и Писемского, но не называет Достоевского, на что последний, конечно, не мог не обратить внимания.

¹ Страхов Н. Бедность нашей литературы. СПб., 1868, с. 8, 46.

В конце 1868 года, в котором Страхов издал свою брошюру, он пишет для «Зари» восторженный отзыв о Толстом — это и есть начало его «отолстения», как иронически выражался Достоевский. Однако, рассуждая о «бедности нашей литературы», он называл в качестве вполне положительных деятелей русской литературы только великое имя Ломоносова и Пушкина, которое одно только «по яркости могло поравняться с этим светилом»¹. Гоголя Страхов признает уклончиво, больше прячась за мнение не понимавшего Гоголя Писемского. Вероятно, в живых беседах с Достоевским Страхов не решался открыто и полностью оспаривать авторитет Гоголя, признаваемый и славянофилами, и западниками; позднее, отставив в сторону платоническое для него имя Ломоносова, он назовет в качестве корифеев русской литературы Пушкина, Гоголя и Толстого².

В 1875 году в «Русском вестнике» (№ 6, стр. 802) он напишет: «Возбуждение, произведенное Гоголем, было необычайное, и последствия его продолжают до сих пор». (Однако он хотел бы, чтобы традиции Гоголя развивались не в сторону Некрасова и Щедрина, а в сторону... Д. И. Стахеева!)

Выходит, таким образом, что Евгений Павлович в романе «Идиот» повторяет те суждения о русской литературе, которые были характерны именно для Страхова.

Евгений Павлович — персонаж, вплетенный в сложный романный сюжет. В романах Достоевского, в особенности в «Идиоте», любовь приобретает особое моральное и философское значение. Страхов не понимал «нагрузки», ложившейся у Достоевского на столь вековечное, повторяющееся и, казалось бы, столь простое чувство. Мы уже вычитали в письме Страхова к Толстому мнение, что у Достоевского не было никакого чувства женской красоты и прелести. В другом письме к тому же Толстому он удивлялся: «Почти непонятно, каким образом Достоевский, столько волочившийся и дважды женатый, не может выразить ни единой черты страсти к женщине, хотя и описывает невероятные сплетения и увлечения

¹ См. также статью «Несколько запоздалых слов» («Отечественные записки», 1866, январь). Цитирую по книге: Страхов Н. Заметки о Пушкине и других поэтах. 2-е изд., дополненное. Киев, 1897, с. 3.

² Страхов Н. Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, с. 168.

таких страстей»¹. Тема эта, надо думать, неоднократно всплывала в многочисленных и «бесконечных» разговорах между Достоевским и Страховым. Для Достоевского она имела слишком большое значение, недаром он ввел в характеристику Евгения Павловича и отношение Страхова к любовной линии в своих произведениях.

Евгений Павлович не может понять сложных переживаний Мышкина, его одновременной любви к Настасье Филипповне и к Аглае и в то же время различия его чувств по отношению к каждой из этих женщин. Для Евгения Павловича, как и для Страхова, критерий «истинной» любви и условие «правильной жизни» — «связать себя навсегда с одним мужчиной, а для мужчины — с одной женщиной»². Он знает трафаретный ход любви «нормальных» людей: по его убеждению, князь, сделав предложение Аглае, должен был порвать с Настасьей Филипповной. Он понять не может, как это Мышкин, будучи «честным» человеком, хочет любить обоих: одну — чтобы ее спасти, другую — потому, что без нее жить не может. Евгений Павлович убежден, что «князь несколько не в своем уме. И что такое значит это *лицо* (лицо Настасьи Филипповны. — В. К.), которого он боится и которое так любит! И в то же время ведь он действительно, может быть, умрет без Аглаи, так что, может быть, Аглая никогда и не узнает, что он ее до такой степени любит! Ха-ха! И как это любить двух? Двумя разными любовями какими-нибудь? Это интересно... бедный идиот! И что с ним будет теперь?»

По мнению Евгения Павловича, князь Мышкин действительно идиот в примитивном, пошлом значении слова: в его чувствах нет-де здоровья, «естественности» натуры, одна только надуманность, «головной восторг».

Евгений Павлович невольно выдает трафаретность и обыденность страховского отношения к женщинам, он проговаривается: князь, мол, должен был предпочесть Аглаю, потому что Аглая «честная девушка», «из общества», а Настасья Филипповна «падшая», «...во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения». Евгений Павлович говорит

¹ Переписка Л. Н. Толстого с Н. Н. Страховым. 1870—1894. СПб., 1914, с. 81, 82.

² Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая. СПб., 1882, с. 198.

здесь точь-в-точь то же самое, что писал Страхов и о чем, нет сомнения, он многократно спорил с Достоевским: «Мы, русские, очень снисходительны в этом случае: мы не особенно караем и преследуем наших Магдалин, но и не возводим их в героини и святые»¹. Тирада эта направлена против «Лукреции Флориани», против Жорж Санд и против «жоржсандизма», против романа «Что делать?» Чернышевского и некоторых стихотворений Некрасова и Добролюбова, против образа Соли из «Преступления и наказания» — и Настасьи Филипповны из «Идиота».

В причудливое и в то же время органическое единство образа Настасьи Филипповны вошло то, что составляло в середине XIX века известную часть так называемого женского вопроса: снятие вины с поскользнувшейся женщины, реабилитация женщины, ставшей, по существу, жертвой неправильно и несправедливо устроенного общества. Страхов же ханжа, как и Евгений Павлович; оба они совершенно не понимают, что Достоевский вложил в душу Идиота, что у него значит сострадание.

Настасья Филипповна «сострадания достойна, — продолжает Евгений Павлович отчитывать князя Мышкина, князя-Христа. — Это, хотите вы сказать, добрый мой князь? Но ради сострадания и ради ее удовольствия разве можно было опозорить другую, высокую и чистую девушку, унижить ее в тех надменных, в тех ненавистных глазах? Да до чего же после того будет доходить сострадание?»

«И где у вас сердце было тогда, ваше «христианское»-то сердце! — продолжает он. — Ведь вы видели же ее лицо, в ту минуту: что она, меньше ли страдала, чем *та*, чем *ваша* другая, разлучница?»

Достоевский уже не скрывает здесь своей иронии: Евгений Павлович отождествляет страдание ревности Аглаи с концентрированным, всечеловеческим, вселенским страданием Настасьи Филипповны! Для Евгения Павловича, как и для Страхова, христианское сострадание имеет меру и предел — это приход на помощь своей невесте, своей возлюбленной, своей жене, это, наконец, милостыня. И не более.

Все нити, характеризующие разные стороны мировоззрения Страхова и Евгения Павловича, сходились в

¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая, с. 196.

одном и, пожалуй, главным для них пункте: в отношении к современному «молодому поколению», или, иначе, к «нигилистической» молодежи.

Достоевский и в самый разгар беспощадных полемик шестидесятых годов все же оговаривался, что нельзя всю молодежь сплошь обзывать «мальчишками и крикунами... что в этих крикунах может быть иногда честное, сурово-честное убеждение», может быть долг, цель и идеал в жизни (см. XIII, 203, 212).

Нельзя пройти и мимо того, что Достоевский после закрытия «Времени», уже в «Эпохе», в которой он предоставил Страхову очень большой простор (для выполнения правительственных требований, под условием соблюдения которых только и разрешено было издание), отказался поместить статью последнего «Счастливые люди», направленную против романа Чернышевского «Что делать?». Об этом мы узнаем от самого Страхова; в сборнике «Из истории литературного нигилизма» он снабдил свою статью следующим примечанием: «Счастливые люди» были написаны для «Эпохи», но Ф. М. Достоевский не решился напечатать эту статью, и только года через два после написания она явилась в «Библиотеке для чтения», которую издавал тогда П. Д. Боборыкин».

Даже после покушения Каракозова на Александра II в 1866 году Достоевский в письме к Каткову, осуждая нигилистов, социалистов, в то же время берет их под защиту от оголтелых нападков и преследований реакции: «У наших же у русских, бедненьких, беззащитных мальчиков и девочек, есть еще свой, вечно пребывающий *основной* пункт, на котором еще долго будет зиждиться социализм, а именно энтузиазм к добру и чистота их сердец. Мошенников и пакосников между ними бездна. Но все эти гимназистики, студентики, которых я так много видал, так чисто, так беззаветно обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы!..»

Нигилизм Достоевский связывает с социализмом. «Все нигилисты суть социалисты, — читаем мы несколько выше в том же письме. — Социализм (а особенно в русской переделке) — именно требует отрезания всех связей. Ведь они совершенно уверены, что на *tabula rasa* они тотчас выстроят рай. Фурье ведь был же уверен, что стоит построить одну фаланстеру и весь мир тотчас же покроется фаланстерами; это его слова. А наш Чернышевский говаривал, что стоит ему четверть часа с наро-

дом поговорить и он тотчас же убедит его обратиться в социализм». Заблуждения и утопии будут искоренены «здравой наукой», пишет Достоевский, но когда еще воцарится здравая наука, «когда еще она будет?.. И наконец: здравая наука, хоть и укоренится, не так скоро истребит плевела, потому что здравая наука — все еще только наука, а не непосредственный вид гражданской и общественной деятельности. А ведь бедняжки убеждены, — возвращается Достоевский снова к молодежи, — что нигилизм дает им самое полное проявление их гражданской и общественной деятельности и свободы» (П, IV, 280, 281).

Чтобы вполне оценить это письмо, надо помнить, что оно написано было в разгар пароксизма мракобесия, вызванного выстрелом Каракозова. Достоевский с наивностью ребенка обращал к влиятельнейшему вдохновителю реакции увещевания удержаться от неистовств, оберечь «свободу слова», оградить ищущую молодежь от репрессий и от «канцелярской опеки»... Достоевский к тому же находился в полной финансовой зависимости от Каткова. Естественно, что в «хитрой» своей тактике он должен был возможно демонстративнее отгородиться от «нигилистов», от Чернышевского (с которым его в самом деле разделяли принципиальные разногласия). Тем большее значение приобретает его слово, подсказанное нераstraченными сочувствиями к молодежи. Чтобы «подладиться» к Каткову, Достоевский напомнил о пресловутых пятнадцати минутах, достаточных для того, чтобы обратиться русского мужика в социализм. Но характерно, что Страхов вспоминал эти «четверть часа» с издевкой, чтобы окончательно и бесповоротно осудить молодежь, Достоевский же — чтобы извинить ее блуждания наивностью надежд, нравственной чистотой и добрыми целями.

Настроения, выраженные в цитированном письме к Каткову, не были для Достоевского ни случайными, ни скоропреходящими. Когда популярный в семидесятых годах генерал Р. Фадеев включился в травлю социалистической молодежи, Достоевский записал у себя в тетради: «Ростислав Фадеев и Фурье. Нет, я за Фурье... Я даже отчасти потерпел за Фурье наказание... и давно отказался от Фурье, но я все-таки заступлюсь. Мне жалко, что генерал-мыслитель трактует бедного социалиста столь свысока. Т. е. все-то эти ученые и юноши, все-то эти веровавшие в Фурье, все такие дураки, что стоило бы им прийти только к Ростиславу Фадееву, чтоб

тогчас поумнеть. Верно тут что-нибудь другое, или Фурье и его последователи не до такой степени все сплошь дураки, или генерал-мыслитель уж слишком умен. Вероятнее, что первое» (НД, 311).

В романе «Идиот» в отношении к Ипполиту, в оценке ищущей молодежи князем Мышкиным и Евгением Павловичем отразились разные позиции Достоевского и Страхова.

Страхов вслед за славянофилами отрицал и осуждал борьбу за право: это, мол, на Западе люди искали прав, русские же все свои упования возлагали-де на любовь, на добровольную и индивидуальную милостыню богатых бедным. И князь у Достоевского учил «единичному добру», придавая огромное, быть может, решающее значение конкретной помощи каждому отдельному страдальцу; но князь понимал под единичным добром («милостыней») ничем не ограниченное самопожертвование, доходящее до отвержения во имя другого самой личности своей. Страхов же и соответственно Евгений Павлович в романе — оба они как тот христианин, который дает милостыню в два рубля, когда надо раздать все имущество («Братья Карамазовы»), их душевная щедрость — это щедрость того сердобольного чиновника, который подал безнадежно погибавшей Катерине Ивановне три рубля («Преступление и наказание»).

«Как западный человек вообще», — критиковал Страхов Дж.-С. Милля, — тот «придает правам гораздо больше значения, чем мы, русские. Для него право — главный, существенный вопрос, которому подчиняется все остальное. На всякое дело он смотрит с этой стороны; лишение права для него есть высшее зло, какими бы выгодами это лишение ни сопровождалось, а обладание правом есть высшее благо, к которому должны сводиться все цели и способности человека». Логическое завершение всякой борьбы за право, продолжает Страхов, это насилие, индивидуальное или общественное, это революция: «Революция 1789 года была совершена во имя прав человека»¹, как почти столетием позже Парижская коммуна.

В «Идиоте» Евгений Павлович, отчитывая Ипполита, который поддерживал искавшего своих прав Бурдовского, полностью повторяет эту аргументацию Страхова:

¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая. СПб., 1882, с. 178, 179, 217.

«...все, что я выслушал от ваших товарищей, господин Терентьев, и все, что вы изложили сейчас... сводится, по моему мнению, к теории восторжествования права, прежде всего и мимо всего, и даже с исключением всего прочего, и даже, может быть, прежде исследования, в чем и право-то состоит?.. От этого дело может прямо перескочить на право силы, то есть на право единичного кулака и личного захотения... Остановился же Прудон на праве силы... От права силы до права тигров и крокодилов и даже до Данилова и Горского¹ недалеко». Точно так в «Письмах о нигилизме», написанных после 1 марта 1881 года, Страхов подводил итоги: «Нигилизм есть движение, которое, в сущности, ничем не удовлетворяется, кроме полного разрушения... Самые смелые и ожесточенные нигилисты давно стали выходить... на путь злодейств»².

Страхов вел против «нигилистической» молодежи ту же самую борьбу, с теми же целями и с тем же ожесточением, что и Катков. Он шел даже дальше Каткова и с самого начала своего «антинигилистического» похода внушал, что всякий нигилист потенциальный разрушитель, поджигатель, убийца, не политический даже, а просто уголовный убийца, стремясь уверить в этом и Достоевского: «Вражду, которую я чувствовал (к нигилистам. — В. К.), я старался передать и Федору Михайловичу»³. Ему привиделось, что в «Преступлении и наказании» Достоевский усвоил его точку зрения, перешел на его сторону. Страхов, однако, тешил себя иллюзиями, все это было не так просто.

В «Идиоте» звучат отголоски споров, которые автор романа о Раскольникове вел со своим критиком. Князь Мышкин относится к Бурдовскому, к Ипполиту Терентьеву как к юношам, попавшим под власть извращенных идей, но вовсе не безнадежным, как к молодым людям заблуждающимся, однако с совестью, способным исправиться и постичь нравственный закон в его непомянутой чистоте. Он не порывает отношений с ними на протяжении всего романа, и если проповедь его и дает некие результаты, то именно в среде вот этой «ниги-

¹ Данилов и Горский — убийцы, персонажи сенсационной уголовной хроники шестидесятых годов.

² Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. СПб., 1883, с. 215, 224.

³ Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений, т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 220.

листической» молодежи. Евгений же Павлович не скрывает своего абсолютно отрицательного отношения к «нигилистическим» персонажам, не желая разбираться ни в возрасте, ни в индивидуальной биографии, ни в личных особенностях каждого из них. Он безжалостен ко всем, кто, по его мнению, в той или иной степени заражен «ядом» новейших идей. Он смеется над задыхающимся, умирающим Ипполитом.

Мышкин жалеет Ипполита, он боится, как бы Ипполит не привел в исполнение замысел самоубийства. Евгений Павлович злорадствует. Он уверен: Ипполит не только не застрелится, но еще и убьет кого-нибудь: «...берегитесь вы этих доморощенных Ласенеров наших¹. Повторяю вам, преступление слишком обыкновенное прибежище этой бездарной, нетерпеливой и жадной ничтожности». «Разве это Ласенер?» — спрашивает удивленный Мышкин. И Евгений Павлович разъясняет:

«— Сущность та же, хотя, может быть, и разные ампула. Увидите, если этот господин не способен укокошить десять душ, собственно, для одной «шутки»... Не попадитесь только сами в число десяти.

— Всего вероятнее, что он никого не убьет, — сказал князь, задумчиво смотря на Евгения Павловича.

Тот злобно рассмеялся².

Достоевский находил в некоторых уголовных преступлениях подтверждение реалистической природы романа «Преступление и наказание». Страхов рассуждал иначе: в этих жизненных фактах он видел подтверждение своей

¹ П. Ф. Ласенер — знаменитый своей жестокостью французский убийца, казненный в 1836 году. Процесс Ласенера был опубликован во «Времени» (1861, № 2), с предисловием Ф. М. Достоевского.

² Достоевский искал в человеке человека, он находил человека в убийцах омского каторжного острога. Страхов же искал и находил в каждом человеке гнусного человека. Даже христианство являлось в его интерпретации обвинительным актом против человека. Полемизируя с Достоевским, он писал: «Разве хорош человек? Разве мы можем смело отвергать его гнусность? Едва ли! Каких бы мнений мы ни держались, когда дело идет об этом вопросе, в нас невольно отзовутся глубокие струны, с младенчества настроенные известным образом. Все мы воспитаны на Библии, все мы христиане, вольно или невольно, сознательно или бессознательно. Идеал прекрасного человека, указанный христианством, не умер и не может умереть в нашей душе; он навсегда сросся с нею. И потому, когда перед нами развернута картина современного человечества и спросят нас: хорош ли человек, мы найдем в себе тотчас решительный ответ: «Нет, гнусен до последней степени!» (Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. «Литературное наследство», т. 86, 1973, с. 562).

излюбленной мысли, будто нигилизм неизбежно ведет к уголовщине, к убийствам, к поджогам. «Нашелся... юноша, — рассказывал Страхов, — который стал на сторону Раскольникова и некоторое время носился с мыслью совершить нечто подобное его преступлению... Так верно была схвачена автором эта логика людей, оторвавшихся от основ и дерзко идущих против собственной совести». Страхов был уверен, что знаменитые петербургские пожары 1862 года были делом рук «нигилистов»: «В поджогах трудно сомневаться, но это дело, как и другие страшные события той эпохи, почему-то осталось совершенно покрытым мраком»¹. Достоевский же был убежден, что «нигилисты» не причастны к поджогам, и неоднократно пытался выразить свое мнение печатно, но цензура по понятным причинам мешала ему. Все же, хоть с опозданием, он сумел об этом сказать на страницах своего журнала².

Князь Мышкин не останавливается на наружных, нелепых и уродливых проявлениях убеждений «нигилистов», как они обрисованы в романе. Он входит в глубину, он ищет нравственные и философские первоисточники порывов тогдашней молодежи, ее поступков, подчас не вяжущихся со здравым смыслом. Мышкин понимает, что Бурдовский вследствие уметвенной своей отсталости может стать игрушкой в чужих и нечистых руках, он жалеет Бурдовского и в особенности Ипполита. Мало того — он вдруг чувствует родство своих переживаний с переживаниями Ипполита: болезнь ставит преграду между ними обоими и обыкновенной, нормальной жизнью, оба размышляют, оба жаждут сострадания, и все это при огромной разнице их личностей и их убеждений протягивает нити сочувствия и единения между ними. Мышкин, к великому своему удивлению, находит общие корни между своей тоской, своей любовью к ближнему и переживаниями Ипполита, главного «нигилиста» романа.

«Ему вспомнилось... — рассказывается в романе, — как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за всегдаш-

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 290, 239—240.

² См.: Кирпотин В. Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 137.

ний великий праздник, которому нет конца и к которому тянет его давно, всегда, с самого детства, и к которому он никак не может пристать. Каждое утро восходит такое же светлое солнце; каждое утро на водопаде радуга, каждый вечер снеговая, самая высокая гора, там, вдали, на краю неба, горит пурпуровым пламенем; каждая «маленькая мушка, которая жужжит около него в горячем солнечном луче, во всем этом хоре участника: место знает свое, любит его и счастлива» (слова Ипполита. — В. К.); каждая-то травка растет и счастлива! И у всего свой путь, и всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью приходит; один он ничего не знает, ничего не понимает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш... Теперь ему казалось, что... все эти самые слова, и что про эту «мушку» Ипполит взял у него самого, из его тогдашних слов и слез. Он был в этом уверен, и его сердце билось почему-то от этой мысли...

Он забылся... но тревога его продолжалась и во сне. Пред самым сном он вспомнил, что Ипполит убьет десять человек, и усмехнулся нелепости предположения.

Предположение Евгения Павловича относительно Ипполита было такой же «галиматьей», как и гаерский его рассказ о защитнике шестикратного убийцы: «...естественно, говорит, что моему клиенту по бедности пришлось в голову совершить это убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришлось бы это в голову? В этом роде что-то, только очень забавное».

«Забавный» этот «антинигилистический» анекдот имел хождение в шестидесятых годах; в романе даже князь Щ. одергивает Евгения Павловича: «Шутка твоя слишком уже износилась».

3. ОТНОШЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО К СТРАХОВУ

Достоевский находил у Страхова, в его убеждениях, в направлении его мировоззрения, недостаток, который он «ненавидел», «презирал» и обещался «преследовать» всю жизнь. Страхов считал, что 2×2 всегда 4 — и точка, а всякий мыслящий иначе заслуживает осуждения и поношения. Благоразумный и осторожный Страхов придавал значение только застылым выводам, неподвижным формулам, самый же процесс искания с его неизбежными колебаниями, пробами, ошибками ставил ни во что. Достоевский же был страстно убежден,

что нравственные мотивы и цели исканий, самый процесс исканий правды много важнее, чем «здравые» метафизические формулы. Достоевский внушал Страхову, имея в виду не абстрактных людей, а именно русскую передовую и ищущую молодежь, «что они хотя и ошиблись, но не хотели ошибиться»¹. «О, будьте уверены, — объяснял Ипполит, — что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее... Не в Новом Свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не выдав его и в сущности не зная, что он открыл. Дело в жизни, в одной жизни, — в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии!» «Счастье не в счастье, а лишь в его достижении» (НД, 414), — записывал сам Достоевский в своих тетрадях.

Евгений Павлович, аналогично реальному Страхову, не терпел всего, что выходило из нормы, что нарушало установленные прописи, что входило в конфликт с господствующим мнением. Он не вдумывался в искания умирающего Ипполита, не замечал его бредового, полубезумного состояния, «отрубал» его от себя. В разговоре-конклаве (выражение Леонида Гроссмана), происходившем на даче у Епанчиных, Ипполит силился понять причины враждебности к нему Евгения Павловича, ускользающие от него вследствие множества усмешек и уклончивостей:

«— Я, впрочем, на вас не сержусь, — совершенно неожиданно заключил вдруг Ипполит и, едва ли вполне сознавая, протянул руку, даже с улыбкой. Евгений Павлович удивился сначала, но с самым серьезным видом прикоснулся к протянутой ему руке, точно как бы принимая прощение».

Князь Мышкин говорит о странном, роковом и преступном извращении идей, начавшем проникать в сознание молодежи. Евгению Павловичу кажется, что князь мыслит одинаково с ним, и остается в недоумении, почему тот не замечает этого преступного извращения идей у Бурдовского, у Ипполита. Евгений Павлович не придает никакого значения тому, что Бурдовский раскаялся, что Ипполит руку целовал князю (Лизавета Прокофьевна очень оценила эти факты!), что Ипполит у него, у Ев-

¹ Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. Страхов Н. Н. О Достоевском. Наблюдения (посвящается Ф. М. Достоевскому), с. 560.

гения Павловича, холодно и вежливо издевающегося над ним, просит прощения.

«— Конечно, — пытается Мышкин объяснить Евгению Павловичу сложившуюся моральную ситуацию, — если вы не захотите ему простить, так он и без вас померет. . .

— О, с моей стороны я ему все прощаю; можете ему это передать, — парирует Евгений Павлович.

— Это не так надо понимать, — тихо и как бы нехотя ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не подымая глаз, — надо так, чтоб и вы согласились принять от него прощение.

— Я-то в чем тут? В чем я пред ним виноват? . . .»

В этом разговоре, в словах Мышкина преломилась одна из любимейших и заветнейших мыслей Достоевского: каждый перед всеми виноват, все виноваты перед каждым, все друг перед другом виноваты. Ипполит один из тех, кто искал, кто ошибался, но не хотел ошибиться; его заблуждения обусловлены не злой волей, а хаотическим и беспорядочным временем, жестоким равнодушием сытых и благополучных к его бедам, к его болезни, к его смерти. Люди, ближние его, перед ним виноваты, во всяком случае, не меньше, чем он перед ними. Евгений Павлович же книжник и фарисей, и если это не было замечено, то ведь не сразу же было понято, что сквозь образ Мышкина сквозит образ Христа. Евгений Павлович умывает руки, он, как и Страхов, не считает себя виноватым в страданиях, в бедствиях других. Страхов называл «гуманность, сострадание, снисходительность, вежливость, терпимость» добродетелями «времен упадка и эпох разложения». Евгений Павлович полон тем же страховским фарисейским, эгоистическим самодовольством: он-то ведь «без греха», он-то лично не виноват ни перед кем, погибающие сами виноваты в своей гибели. «Я-то в чем тут? В чем я пред ним виноват? . . .» — в этом вопросе весь Евгений Павлович. И весь Страхов.

Евгений Павлович упрекает Мышкина в излишнем сострадании, он полагает, что Ипполита напрасно увезли из города, от «мейеровой стены», на дачу, что Ипполит рисуется, позирует перед окружающими. Идиот, князь-Христос, продолжает терпеливо ему объяснять: Ипполиту «хотелось тогда. . . всех вас благословить и от вас благословение получить, вот и все. . .». Князя Щ., присутствовавшего при этом разговоре, как бы озарило,

он вдруг понял позиции спорщиков, подтекст всего происходящего. «Милый князь, — обращается он к Мышкинку, как-то «опасливо» переглянувшись кое с кем из присутствующих, — рай на земле не легко достается; а вы все-таки несколько на рай рассчитываете; рай вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу...»

Евгений Павлович отрицает не только возможность, но и позволительность устройства «рая на земле». В утопиях он видит только средство разжигания несбыточных надежд и возбуждения ненавистных ему недовольства и бунтарства. Христианство, церковь освящают несовершенство мира сего, социальное неравенство, нищету одних, богатство других. Толкование Евангелия в «филантропическом», в социально-утопическом духе представляется ему ересью — вполне как и ограниченному и благоразумному Страхову. «Блаженны нищие, сказано в одной книге, — поучает Страхов, — эти слова стали в настоящее время совершенно непонятными, а многим покажутся чуть ли не безнравственными. Однако же несомненно, что нельзя быть спокойным и довольным тому, кто непременно требовал бы себе имущества, соответственного своим заслугам и достоинствам, или не мог бы вынести зрелища чужого случайного богатства»¹.

Это фарисейское оберегание своего «случайного» богатства, своего каменного спокойствия и жестоковыйного самодовольства опирается все на ту же уверенность, что «рай на земле» просто невозможен, что сколько бы ни бились реформаторы, проповедники, пророки, новые Иисусы, все вернется на старые, истоптанные круги. И Евгений Павлович, и Страхов обыкновеннейшие консерваторы, пошлейшие враги утопий, враги социализма, враги гармонии, «рая на земле».

Достоевскому жгли сердце страдания народа, его сознание было охвачено стремлением поднять униженных, утешить оскорбленных, «восстановить» в падшем человеке утраченные человеческие качества.

Мечты о новом «золотом веке», связанные с проповедью смирения и долготерпения, сопровождались отрицанием революционных форм борьбы за лучшее будущее. И у Достоевского мечта о рае на земле уживалась с идеализацией православия и самодержавия. Однако в

¹ Страхов Н. Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. СПб, 1883, с. 244, 246—247.

художественном образе, в личности, в Лице князя Мышкина мечта о рае на земле приобретала сильный критический оттенок, направленный против существующего порядка земных дел и против господствующей морали, освящающей привилегии сильных и богатых.

Страхов же издевался над стремлением к врачеванию материальных, жизненных зол. «...Мы, вероятно, прекрасно устроимся, как скоро бросим заниматься пустяками, — иронизировал он. — У каждого будет работа; все мы будем сыты, одеты, не будем терпеть ни голода, ни нищеты, будем здоровы, а заболеем — найдем всегда докторов и лекарства»¹. И уже вполне серьезно, с необычной для него страстностью Страхов провозглашал: «Вопрос о материальном благосостоянии и вообще об устранении страданий, которым подвержено человечество, есть, как известно, самый живой современный вопрос. Но поднят он уже давно; о нем говорится в Евангелии, и сказано там именно следующее: ищите прежде царствие Божие, и все сие приложится вам. Мне кажется, и ныне нет нужды изменять этого решения. Люди всегда были, есть и будут идеалистами». Захоти они установить порядок, при котором никто не умирал бы с голоду, «то, при известной смышлености, отличающей их от животных, они, без сомнения, достигли бы этой цели. Но этого никогда не было... Разве человечеству нужно привыкать страдать и умирать? Вы говорите о нуждах; но люди во все времена показывали способность терпеть, не жадничать и быть довольными малым. Вы говорите о смерти, голодной или кровавой? Но опять-таки, во все времена люди показывали расположение рисковать своею жизнью и гибнуть безропотно. Да и странную бы поправку вы сделали в человеческой природе, вычеркнувши из нее идеализм...»²

Страховский идеализм, увековечивавший страдания, голод, преждевременные и насильственные смерти, переносивший счастье освобождения от бедствий на небеса, противостоял не только программе материального устройства людской жизни у социалистов типа Чернышевского, но и братству, как его понимал, как его про-

¹ Страхов Н. Из истории литературного нигилизма. 1861—1865. СПб., 1890, с. 37.

² Там же, с. 122, 124.

поведовал Мышкин Достоевского. Выхода из всеобщей войны каждого против всех и всех против каждого Достоевский искал в установлении земной гармонии; Страхов же всех тех, кому реальный земной порядок не оставлял в удел ничего, кроме физических и нравственных мучений, успокаивал обещанием загробного блаженства.

Достоевский был утопистом и по поставленным им целям, и по предлагаемым им средствам их осуществления, но в его цели входило утоление материальных нужд обездоленного народа и гармоническое устройство его судеб на земле. В этом условном смысле он был материалистом. В этом контексте приобретает особый смысл один разговор Мышкина с Ипполитом. Мышкин уговаривал больного юношу переехать из каменного Петербурга в дачный Павловск. «Зелень и чистый воздух... — аргументировал он, — непременно произведут какую-нибудь физическую перемену», под деревьями облегался его волнения и его сны. Ипполит, смеясь, заметил на это, что князь говорит как материалист, на что тот ответил со «своею улыбкой, что он и всегда был материалист. Так как он никогда не лжет, то эти слова что-нибудь да означают».

Шутка приобрела серьезный характер. Начавшись с бытового замечания о преимуществах для больного дачных условий, она обернулась серьезным утверждением, имеющим полемический смысл: Мышкин, мечтающий о радости, о счастье, о довольстве и гармонии для живых людей, — материалист по сравнению с идеалистом Страховым, проповедующим блаженство за гробом, а на земле аскетизм и страдание (для других, конечно; себе-то он позволял все возможные для него бранные приятности и наслаждения). Недаром свою статью о романе Чернышевского, отвергнутую Достоевским, Страхов «саркастически» назвал «Счастливые люди»: в ней доказывалось, что стремление к счастью безнравственно и противоестественно, что оно несовместимо с идеалистической природой человека.

В этом же контексте раскрывается иронический характер замечания Ивана Петровича в адрес Мышкина: «Молодой человек сла-вя-нофил, или в этом роде, но... Впрочем, это не опасно». Не опасно было пресмыкавшееся перед царизмом и собственниками славянофильство Страхова, но идеал Мышкина был по-своему опасен своим судом над миром уже тем, что создавал тревогу и

возбуждал надежды на переустройство земных дел. И автор «Идиота» отдавал себе в этом полный отчет.

Достоевский знал Страхова не только по его статьям и книгам и не только как сотрудника «Времени» и «Эпохи». Он находился с ним в длительном и живом общении, хорошо знал и по общественному поведению, и по быту. «Разговоры наши были бесконечны, и это были лучшие разговоры, какие мне достались на долю в жизни», — вспоминал впоследствии Страхов. Достоевский «говорил тем простым, живым, беспритязательным языком, который составляет прелесть русских разговоров... Самое главное, что меня пленяло и даже поражало в нем, был его необыкновенный ум, быстрота, с которою он схватывал всякую мысль, по одному слову и намеку. В этой легкости понимания заключается великая прелесть разговора, когда можно вольно отдаваться течению мыслей, когда нет нужды настаивать и объяснять, когда на вопрос сейчас получается ответ, возражение делается прямо против центральной мысли, согласие дается на то, на что его просишь, и нет никаких недомыслий и неясностей. Так мне представляются тогдашние бесконечные разговоры, составлявшие для меня и большую радость, и гордость. Главным предметом их были, конечно, журнальные дела, но кроме того и всевозможные темы, очень часто самые отвлеченные вопросы...»¹

Разумеется, нет возможности восстановить все богатство разговоров Достоевского со Страховым, их согласий, расхождений, споров, нет возможности поэтому точно определить, как они отразились в образе Евгения Павловича. Нам пришлось в своем анализе ограничиться печатными источниками. Найденные совпадения характерных черт личностей Евгения Павловича и Страхова, их речей, их мнений, их позиций в общественных и моральных вопросах вполне достаточны, чтобы доказать, что последний явился прототипом первого, что Достоевский трансформировал свой опыт общения со Страховым как с жизненным типом в художественный образ.

К этому следует, пожалуй, добавить и фамилию Евгения Павловича. Достоевский выбрал для него фамилию Радомский, по польскому городу Радому. Писатель

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 225.

вообще любил давать своим героям фамилии со смыслом. Статья Страхова «Роковой вопрос», посвященная польскому восстанию 1863 года, приобрела поистине роковое значение для Достоевского: она вследствие свойственных Страхову «обиняков», витиеватости и неясности формулировок не была понята в правительственных кругах и послужила причиной закрытия «Времени» — Страхов написал статью против поляков, а Каткову и присным почудилось в ней сочувствие полякам. Достоевский никогда не мог забыть этого эпизода. Он обозначил своего литературного героя первоначально буквой Р., быть может считая полное начертание фамилии слишком прозрачным намеком; в дальнейшем он выписал ее всеми буквами, решив, что жизненного первоисточника образа все равно не скрывать.

Достоевский сотрудничал со Страховым, но полного единомыслия, настоящей близости между ними никогда не было. Он, вспоминая Страхов, «никогда мне не противоречил... Но он и никогда не хвалил меня, никогда не выражал особенного одобрения». Статьи же Страхова во «Времени», по собственному его признанию, встречали «маленькое сопротивление».

«В моих статьях,— продолжал он,— иногда редакция приставляла к имени автора, на которого я нападал, какой-нибудь лестный эпитет, напр. *талантливый, даровитый*, или в скобках: (*впрочем, достойный уважения*). Были и вставки; так, в статье «Нечто о полемике» было вставлено следующее место:

«Вольтер целую жизнь свистал и не без толку и не без последствий. (А ведь как сердились за него, и именно за свист)».

Эта похвала свисту вообще и Вольтеру в частности нарушает тон статьи и выражает вовсе не мои вкусы... Вставка принадлежит Федору Михайловичу, и я уступил его довольно горячему настоянию¹.

Оба, и Достоевский, и Страхов, так никогда и не преодолели разделявшей их черты. Несмотря на длившееся сотрудничество и интенсивное личное общение, «на Федора Михайловича находили иногда минуты подозрительности», недоверчивости по отношению к Страхову, возникали размолвки, а со времени падения

¹ См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки, с. 224, 235.

«Эпохи» и вплоть до обнаружившегося успеха «Преступления и наказания» они уж и не встречались.

Неполное совпадение мнений и взглядов между Достоевским и Страховым преломилось в романе в форме неполного согласия между Мышкиным и Евгением Павловичем. Евгений Павлович время от времени просит Мышкина подтвердить его правоту, а Мышкин отвечает: «Я так прямо не могу еще сказать, согласен я или не согласен... но уверяю вас, что слушаю вас с чрезвычайным удовольствием...» Так мог бы сказать и Достоевский Страхову. Вдумываясь в критику русского «либерализма» со стороны Евгения Павловича, Мышкин замечает: «...Мне кажется, что вы, может быть, несколько правы и что тот русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти склонен ненавидеть самую Россию, а не одни только ее порядки вещей. Конечно, это только отчасти... конечно, это никак не может быть для всех справедливо». Реплики эти, думается, соответствуют реальным оттенкам, возникавшим в обсуждениях и беседах Достоевского со Страховым.

Понимал ли Страхов, что в образе Евгения Павловича Радомского отразился он сам с его «почти» совпадающими взглядами с Достоевским и с непреодолимым в то же время средостением между ними? Не мог не понимать, хотя, может быть, и делал вид, что ничего не замечает. Напомним еще раз: похвала «Идиоту» прозвучала в письмах и вообще в писаниях Страхова один раз — в марте 1868 года. Но Страхов знал тогда только первые главы романа, напечатанные в январе и в феврале. Последующие главы поднимали все выше и выше и художественное, и философское, и общественное значение нового произведения Достоевского. С чего же это Страхов вдруг изменил свое отношение к «Идиоту», вычеркнув его из списка «подъемов», достижений Достоевского? Да потому, что он узнал себя в Евгении Павловиче. Достоевский шадил своего мнимого единомышленника. Достоевский трансформировал в художественный образ преимущественно черты мировоззрения Страхова, он давал сюжетную жизнь столкновениям идей и почти не воспользовался характерными особенностями Страхова как бытового человека. Искусный художник, Достоевский придал образу Евгения Павловича черты внешней привлекательности, избегая карикатуры, прямой сатиры (однако маскирующие, украшающие черты, которые Достоевский придал образу Евгения Павлови-

ча, — знатность, красота, сердцежество — могли быть восприняты Страховым по некоторым особенностям его личности как скрытая, но обидная протия). Как нужно вдумываться и вживаться в образ Мышкина, чтобы понять, что за ним стоит Христос (князь-Христос), так нужно вдумываться и вживаться в образ Евгения Павловича, чтобы понять, что это современный, XIX века, книжник и фарисей, самодовольный, благополучный духовный мещанин.

Мещанство Радомского выразилось в его «разумной и ясной» («с чрезвычайной — даже психологией»), снижающей трактовке грандиозной и трогательной эпопеи Мышкина. Радомский использован в романе для показа преломления мирообъемлющего, философско-этического содержания «Идиота» в обыденном и даже пошлом сознании. В самодовольной критике Евгения Павловича, «как по пальцам» разбирающего князя Мышкина, князя-Христа, великий смысл романа-трагедии снижен, вульгаризован и — утрачен¹. Мещанство Евгения Павловича сквозит и в его благополучной судьбе в неблагополучном мире; у него есть «сердце», у него много «хороших черт», он ищет для себя честного и уютного счастья, и кончит он (уже за пределами романного времени) после неудачных притязаний на руку Аглаи — со всем своим флигель-адъютантством, богатством, красотой, образованностью и умом — женитьбой на хорошенькой и молодой, непритязательной Вере Лебедевой.

Достоевский писал «Идиота» после того, как превращенные после крушения «Эпохи» отношения его со Страховым возобновились. Страхов был шафером на его свадьбе. Живучи за границей в одиночестве, Достоевский начал довольно интенсивную переписку со Страховым. В этих письмах Достоевский говорит много приятного Страхову о нем самом, о его статьях, укрепляет в нем веру в его силы. Но все-таки преобладают в них деловые — денежные и бытовые — поручения. Наибольшей степени похвальные выражения Достоевского в адрес Страхова достигают в период писания «Бесов», когда перед ним, как больная совесть, мучительно вставал

¹ Достоевский и вообще-то любил оттенять высокое значение своих повествований толкованиями, свойственными эмпирическому сознанию. См. об этом в книге «Разочарование и крушение Родиона Раскольникова», М., 1970, с. 429—431. Он прибегал к этому приему уже в сороковых годах в «Хозяйке» (см. нашу книгу: Ф. М. Достоевский. Творческий путь (1821—1859). М., 1960, с. 306—307).

образ Белинского, от которого он пытался освободиться пароксическими усилиями. Нужда, вечные поиски денег все сильнее связывали Достоевского с «Русским вестником» Каткова. «Я-то уж нигде и ничем не связан, кроме долгов», — горестно отмечал он (П., II, 335). Страхов сотрудничал тогда в «Заре», недолговечном журнале, издававшемся В. В. Кашпиревым. Достоевский надеялся, что «Заря» возобновит и укрепит направление усопшего «Времени». Он наставляет Страхова, как вести журнал, уговаривает, несмотря ни на какие трудности, не расставаться с «Зарей». Словом, переписка поддерживала и даже укрепила отношения между Достоевским и Страховым. Она сделала возможным возобновление довольно интенсивного личного общения между ними после возвращения Достоевского из-за границы.

Как же возникла тогда столь резко негодующая, столь беспощадная запись в тетради 1876—1877 годов?

В Страхове ничего не изменилось, он остался таким же уклончивым и двуличным, каким был, так и не сумев оценить гения Достоевского, его значения для русской и всемирной литературы. Он мог представить то, чего не было, как непреложный факт, и мог умолчать о том, что было, если последнее почему-либо не соответствовало его умонастроениям. Он мог говорить в глаза одно, за глаза другое. По-видимому, до Достоевского дошло, что Страхов распространяет о нем гадости. Какого рода были эти гадости, можно представить себе из самой записи Достоевского. Напомним: «...несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубосладострастную пакость готов продать всех и все, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать».

Слова эти вполне могли быть вызваны сплетней, которую Страхов приписывал Висковатову. Распространяя ее, Страхов не щадил не только своего друга Достоевского, он делал невозможной их совместную работу, он чернил идеал, который, на словах по крайней мере, он с ним разделял.

Достоевский был поражен. Достоевский понял, что ханжество Страхова, его «почти согласие» с идеалом более опасно, чем открытая вражда. С фарисейскими ого-

ворками, сводящими сущность дела на нет, со скрытым и трусливым предательством труднее бороться, чем с открытой ненавистью. Достоевского взорвало. И он внес в свою рабочую тетрадь известную нам запись о Страхове. Это была не просто дневниковая запись для памяти; она была сделана художником, вознамерившимся переосмыслить тип, воплощенный в Евгении Павловиче, изобразить его без смягчающих красок, с той беспощадно концентрированной правдивостью, на которую он только был способен.

Анна Григорьевна Достоевская предоставила в распоряжение Н. Н. Страхова, работавшего над биографией покойного писателя, все его бумаги. В какое-то время он конечно же натолкнулся на эту запись. Опытный литератор, он понял, какое значение она имеет для его репутации, для памяти о нем в потомстве. Запись наслаивалась на образ Евгения Павловича Радомского и придавала ему значительно более зловещий смысл, чем это представлялось ему при первоначальном чтении романа. Страхов забеспокоился. Он решил принять свои меры и написал письмо к Толстому, отлично понимая, что оно не пропадет, займет свое место в истории.

Страхов зафиксировал в письме к Толстому то, о чем сплетничал устно. Все же по опубликовании оно произвело впечатление шока. Поступок Страхова нуждался в объяснениях.

Анна Григорьевна следующим образом объяснила мотивы, двигавшие Страховым: «Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они представляют себе, — что побудило Страхова написать его письмо? Большинство склонялось к тому, что это была «*jalousie de métier*» (профессиональная зависть), столь обычная в литературном мире; что, вероятно, Федор Михайлович по своей искренности, а может быть, и резкости, обидел Страхова (последний и сам говорит об этом), и вот явилось желание отомстить, хотя бы и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так как знал, что вызовет против себя слишком много защитников памяти Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова. Одно из лиц, близко знавшее Страхова, — добавляет Анна Григорьевна, — высказало мне мысль, что своим письмом он хотел «очернить, принизить Достоевского в глазах Толсто-

го»¹. Местью, личной обидой объясняет письмо Страхова к Толстому и Г. М. Фридендер².

Однако Страховым руководила страсть бóльшая, чем простая обида и простая месть. Как литератор он чрезвычайно беспокоился о своем влиянии, о своем имени, о своей репутации в потомстве. Как ни недооценивал он Достоевского, он все-таки понимал, что значит в веках свидетельство Достоевского. Он и постарался «подмочить», ослабить или даже парализовать его клеветническим письмом, адресовавшись через Льва Толстого к будущим поколениям. Странно, однако, что некоторые историки литературы считают слова Страхова более достоверными, чем свидетельство Достоевского!

История взаимоотношений Достоевского со Страховым и правильное в связи с этим осмысление образа Евгения Павловича Радомского имеют большое значение для изучения и творчества и биографии великого писателя.

Раскрытие внутреннего содержания литературного типа, представленного Евгением Павловичем, бросает дополнительный свет на трагический конфликт романа «Идиот». Слова и пример Мышкина встречали в сюжетном развитии произведения большее сопротивление, чем это может показаться на первый взгляд. Князь-Христос, явившийся в Петербург, чтобы преобразовать мир смирением, состраданием и деятельной любовью, столкнулся не только с капиталистическим злом, с темными глубинами непросветленной человеческой природы, но и с фарисейским «почти сочувствием», более опасным для его миссии, чем открытая вражда.

Достоевский — «дитя века, дитя неверия и сомнения» — в иные минуты заявлял: «...Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной» (П., I, 142). Но как художник, как реалист, прошедший школу Белинского, Достоевский не хотел, не мог закрывать глаза на истину, не был в состоянии погрешить против истины, каких бы душевных мук ему это ни стоило. «Как только художник захочет отвернуться от исти-

¹ Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971, с. 405.

² См. его статью «Наука о Достоевском сегодня». «Русская литература», 1971, № 3, с. 16.

ны, — записывал он свое credo, — тотчас же станет бездарен и потеряет на ту минуту весь свой талант» (НД, 429).

По замыслу романа Мышкин должен был «восстановить» Настасью Филипповну, благотворно повлиять на Рогожина, Ганю и Лебедева. Однако такой ход и такой итог романа вопиющим образом расходились бы с реальным течением дел в мире сем. И художник восторжествовал. В ходе работы над своим произведением Достоевский дал совершенно иное направление своему сюжету. В бумагах писателя сохранился набросок: «Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, и потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все те выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее»¹. Правда, значит, выше и Христа, и необыкновенный роман Достоевского показал, что мир не может быть спасен вторым пришествием, простым повторением уже потерпевшей крушение евангельской «благой вести». Во имя Некрасова, Пушкина, во имя народа, во имя России и всего человечества (Достоевский не отделял будущего счастья России от счастья человечества) надо искать других путей преодоления насилия, эксплуатации, фарисейства, лжи, как бы мучительны эти пути ни были, какие бы новые трудности, какие бы новые испытания они ни принесли с собой!

Вместе с тем долгие разговоры Достоевского со Страховым, сотрудничество с ним, сомнительная дружба и, наконец, предательство последнего показывают, как одинок был Достоевский. В записях, письмах и художественных текстах Достоевского можно найти немало фраз, совпадающих на первый взгляд с тем, что писал Страхов. Но это было мнимое совпадение, «почти» согласие. Совпадающие или почти совпадающие фразы стоят в контексте, а контекст-то у Достоевского и Страхова был разный. Мировоззренческая, философская, нравственно-социальная граница между Достоевским и Страховым оказалась непреодолимой. Двуличный и скользкий Страхов уверял, что Достоевский, выпрашивая у него статейку для «Гражданина», сказал: «...да,

¹ Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. «Литературное наследство», т. 86, с. 91. В дальнейшем дается только название тома и страницы.

половина моих взглядов — ваши взгляды!»¹ Что ж? Возможно, так оно и было. Мало ли что говорится в текущих разговорах, особенно когда добиваешься чего-либо нужного от собеседника. Эту фразу Страхов опубликовал. А вот то, что Достоевский ненавидел, презирал и обещался преследовать всю жизнь его ханжество, его вражду к исканиям новых, неведомых раньше путей в будущее, — это Страхов хранил под спудом. В разгар совместной работы в «Эпохе» Н. Страхов писал своему брату Павлу: «С Достоевским я чем дальше, тем больше расхожусь»². Нельзя ставить в один ряд как единомышленников Достоевского и Страхова. «Мы вовсе не такие почвенники...» — есть запись у великого писателя (НД, 256). Не только либеральные западники, но и консервативные славянофилы, но и выученные им самим «почвенники» не понимали его. Его идеалы, его гений были для всех них непосильной ношей. Лишь минуя их, художественное слово Достоевского проложило себе дорогу в мир.

1972

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч., т. I. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб, 1883, с. 238.

² Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования, с. 396.